

Клавдия Лукашевич

Даша Севастопольская

(ПЕРВАЯ СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ)

БЫЛЬ.

I.

В окрестностях Севастополя, в одной из котловин инкерманских высот, на берегу большой бухты, находился поселок по названию Сухая Балка. В этом поселке дома были невзрачные, и жили в нем все люди небогатые, по преимуществу семьи матросов. Беднее других был крайний домишко в Сухой Балке. Он совсем почти развалился, крыша обветшала, забор покосился, одно окно вместо стекол было заколочено доской; видно, некому было его поправить. Домишко этот принадлежал сиротке Даше. Мать ее давно умерла, а отца-матроса убили при Синопском сражении, когда девочке было тринадцать лет.

Даша жила одна-одинешенька в большой бедности. Занималась она рукоделиями, ходила работать поденно и много видела горя за свою короткую жизнь. Тяжело живется на свете круглой сироте: осудит и обидит всякий, а заступятся, научат ум-разуму и приголубят немногие.

Жены матросов недолюбливали сиротку, иначе как "Дашка" ее не называли: - "Дашка-де и неряха, она и грубиянка, и лентяйка..." Может быть, и действительно не все делала, как следует молоденькая девочка... да некому было научить беззащитную сироту. Разве изредка какой-нибудь старый матрос пожалеет и мимоходом перекинется словечком-другим с сироткою Дашей.

Время, с которого мы начинаем свой рассказ, было тревожное. Носились зловещие слухи о войне, и никто не мог быть спокоен.

Один раз, было дело под-вечер, Даша стояла, прислонившись к воротам своего дома. Это была маленькая, худенькая девочка лет пятнадцати, очень миловидная, с длинною, толстою, русою косою. Она задумалась и грустно переводила глаза с окрестных гор на море, где заходящее солнце золотило поверхность, и где виднелось множество судов.

- Здорово, Даша! Что призадумалась? - раздался неожиданно грубоватый мужской голос.

Девушка вздрогнула и очнулась. Перед ней стоял старый матрос, молодецкато сдвинув шапку на затылок, и курил трубку.

- Здравствуй, дядюшка! Присядь на скамеечку: дорогим гостем будешь! Матрос сел.

- Как живешь, Дашенька?

- Плохо, дядюшка. Сам знаешь, каково жить сироте. Напраслину скажут, обидят, - никто не заступится, не пожалеет.

- Такие ли бури бывают. Терпи... На то ты дочь матроса, чтобы штормов не бояться... Твой отец был "ерой". За родину погиб...

Слезы набежали на глаза девушки, и она тяжело вздохнула.

- И то, дядюшка... Иногда задумаешься об отце... Таково тяжело станет... Принял смерть и родная рука глаза не закрыла.

Даша задумалась, но тотчас же отерла слезы и спросила:

- А что, дядюшка, правда ли, говорят, что у нас скоро опять война будет?

- Может, и будет, может, и нет, - уклончиво отвечал матрос.

- Какое страшное дело это война! Сколько народу безвинного погибнет... Сколько сирых останется...

- Тебе-то что, девушка? Терять тебе некого. На войну, пожалуй, тоже не возьмут. - Старый матрос рассмеялся.

- Подумать страшно, дядюшка, как воюют: кровь льется, раненые стонут и мучаются, умирают... Ох, как страшно!

- Уж это известное дело: когда война, тогда и раненые и убитые.

- Дядюшка, если будет война, я пойду за ранеными ухаживать... Ей Богу, пойду! - быстро проговорила Даша и сама улыбнулась на свою дикую мысль.

- Глупая ты, Даша... Недаром тебе от наших баб достается. Виданное ли это дело, чтобы девчонка на войну шла? Да если бы ты близко увидела сражение, ты бы со страху умерла. Глупая, как есть глупая. Зря говоришь и беду накликаешь...

Старый матрос выкурил трубку, выбил пепел, поднялся, кивнул Даше головой и, усмехаясь, пошел дальше.

Девушка опустила голову и глубоко задумалась.

А беда, действительно, была не за горами. Она подошла, грозная и негаданная. Первого сентября 1854 года около крымских берегов показался огромный неприятельский флот. Неожиданность этого появления не дала возможности опомниться окрестным жителям и собраться уехать.

Переполох в Севастополе и окрестностях был ужасный: готовили корабли с орудиями, с провизией, со снарядами; стойко собирались встретить врага солдаты и матросы.

Взоры севастопольцев с надеждою и верою обратились на любимых испытанных героев - адмиралов Нахимова и Корнилова.

Вокруг города был совершен крестный ход, и Корнилов обратился к войскам с горячею речью:

- ... Знайте, ребята, отступления не будет! И если кто услышит, что я скомандую отступление, - пусть меня заколет.

С необыкновенным оживлением были приняты слова Корнилова.

- Умрем за родное место! - отвечали севастопольцы.

Всюду закипела спешная работа: открылись все морские запасы доков, и с кораблей повезли пушки, цистерны, снаряды, леса и прочее.

Работали, так сказать, не переводя дыхания.

В Сухой Балке также все кинулись к бастионам. И старые и малые старались помогать своим же родным матросикам, - кто отцу, кто сыну, кто брату... Кто имел лошадь, отдал ее на бастион возить снаряды и землю; дети таскали лопаты; женщины работали дни и ночи наравне с мужчинами. У каждой на уме были ребятишки, свой угол, кой-какое добро, нажитое тяжелыми трудами, и сжималось сердце несчастных при мысли, что неприятель может разорить и истребить все.

Даша ходила, как потерянная, тоже работала и часто плакала. Женам матросов иной раз даже досадно становилось: - "Чего Дашка-то ревет?! Ей не о ком убиваться". А бедная сирота думала какую-то неотступную думу и места не находила себе от сердечной тоски. Еще более осудили жены матросов Дашу, когда увидели однажды, что она остригла свою длинную, густую косу. - "Совсем сдурела девчонка! Никак с ума рехнулась!" - говорили они.

Но долго в то время судить-рядить о таких пустяках не приходилось, и на Дашу все махнули рукой.

Слышно было, что неприятель высадился в 28 верстах от Севастополя, что там ожидается страшное, решительное сражение. Туда, на реку Алму, и потянулись войска крымской армии.

В Сухой Балке находился еврейский шинок. Хозяин-еврей Мовша не только торговал водкой, но и брал под заклад вещи.

К этому-то самому еврею, в глухую, темную ночь прибежала Даша с огромным узлом в руках.

- Слушай, Мовша, купи у меня все мое обзаведение, - тревожно сказала она.

- Что ж! У такой хорошей девицы купить можно.

Тут подушки, постель, мое платишко... Там, в доме, возьмешь стол, стулья, сундук, посуда кой-какая... Все продаю.

- Знаю, знаю. За все и вместе с домом можно дать рублей десять.

- Есть ли у тебя совесть, Мовша?! - воскликнула Даша.

- Как же, есть, - отвечал еврей.

- Дом свой я не продам... Бери все за тридцать рублей... Только дай мне в придачу еще матросскую одежду, да какую ни на есть белую полотняную тряпку. Долго торговались они, и, наконец, за 19 рублей копеек, Даша продала все свое имущество, кроме дома, а от еврея получила в придачу рваную простыню и старый матросский костюм, оставленный у него в заклад каким-то бедным матросиком.

- Что же, Дашка, ты бежать хочешь с Сухой Балки? - спрашивал Мовша, отсчитывая дрожащими руками деньги.

Девушка ничего не ответила, только закрыла лицо руками и залилась горькими слезами.

- Конечно, страшно! Время такое! Ой-ой! Ни за что убьют, как собаку! - говорил сочувственно еврей.

После того он всем рассказывал, как перепугалась Дашка неприятеля, как она убежала с Сухой Балки и как она редела от страха.

Все ему верили.

II.

Была темная ночь; лил дождь; дул холодный ветер. Трудно было что-нибудь различить в темноте.

По дороге от Севастополя к реке Алме слышалось какое-то глухое, сдержанное движение: шлепанье множества ног по лужам, поскрипывание колес, фыркание лошадей, бряцанье и сдержанный шепот. Лишь изредка выделялись один-два голоса и скоро умолкали...

- Кажется, не туда идем?..

- Нужно правее... Вон на тот огонек...

- Правое плечо вперед!

Огромная масса сворачивала с пути. Перед глазами стояла точно черная стена. Только мелькавший временами вдали огонь вызывал тихие разговоры.

Забрезживший на востоке рассвет озарил двигавшееся войско. Озябшие, измученные солдаты шли сосредоточенно, сознавая, что им предстоит что-то важное. К утру дождь перестал. Сильный ветер нагонял с моря туман и становился все сильнее и порывистее. Небо временами прояснялось. Быстрое движение облаков с розовым оттенком казалось необычным и весьма странным.

На эти облака задумчиво смотрел один матросик. Отстав далеко от войска, он медленно двигался за обозом и фурами. Его безусое, почти детское лицо было серьезно. Он ехал на изможденном татарском коняке; за спиной у него была туго набитая котомка. В то тяжелое время народного бедствия такой воин никого не удивлял: на защиту родного города поднялись все, кто мог и старые, и малые. Когда небо прояснялось, молоденький матросик не спускал глаз с розоватых облаков; по временам он качал головой, и губы его что-то шептали.

Обозные солдаты, то и дело, оборачивались, посматривали на отставшего матросика и пересмеивались между собою.

- Чудной, братцы, какой-то мальчонка...

- Ишь, на "нёбо" глазеет...

- Должно быть, юнга какой... Поди, за батькой идет.

- Ах, братцы, ныне такое время, что и ребята все за родину пошли... Глядикось, что они под Севастополем делают! Молодцы!

- Эй ты, морская кавалерия, чего отстаешь?.. Повод держи!.. Не то коняка тебя разнесет! - крикнул кто-то матросику.

Послышался смех.

Тот как будто очнулся, взмахнул поводом, подогнал лошадь, но ничего не ответил. Всю дорогу он был угрюм, ни с кем не разговаривал и на шутки не отвечал.

Да и brave солдаты могли шутить недолго. Прошло не более суток, как они увидели огромное неприятельское войско. Союзный флот стоял у берега, а вражеские гости, высадившись, ждали хозяев, чтобы встретить их бомбами, ядрами и штыками. 8-го сентября 1845 года на берегу Алмы произошло страшное сражение.

В то самое время, когда ядра, взвиваясь, свистали в воздухе, падали, прыгали и взрывали землю, когда, то и дело, раздавались залпы выстрелов, когда воздух напивался смрадом от пороха, пыли и гари, когда все больше и больше стали раздаваться людские отчаянные крики и стоны, - в то время недалеко от поля битвы, где природный вал окружил небольшую лощинку, защищенную с другой стороны от палящего солнца группой деревьев, молодой матросик проезжал взад и вперед на своем "коняке". Он был бледен, как полотно, и очень встревожен; быстро оглядываясь во все стороны, он как будто чего-то искал. Когда свист и грохот взлетающих и разрывающихся бомб и залпы выстрелов становились уже чересчур оглушительны, - он хватался за грудь и, повернув коня, собирался бежать... Затем снова возвращался. Видно было, что в этом ребенке происходила борьба между страхом и чем-то другим, заставлявшем его возвращаться в лощину... Это другое - могучее, наконец, победило. Матросик соскочил с коня, дрожащими руками стал привязывать его к дереву, а сам все озирался по сторонам и вздрагивал... Сражение затихло... И в то же мгновение на лощинку стали приносить раненых. У одного была разбита голова, кто без руки, кто без ноги, кто ранен в грудь, кто в живот... Стоны, вопли, крики и страдания... страдания без конца...

Матросик, при виде льющейся крови, при виде этих мук, закрыл глаза, и если бы не ухватился за дерево, то наверно, так бы и упал...

Прошла всего минута... он очнулся, пришел в себя... Решимостью загорелись его глаза; юное лицо озарилось какою-то вдохновенною твердостью... Порывисто бросился к он к своей котомке, достал оттуда ножницы, корпию, тряпки... Сдернув с головы шапку, он подал ее близ сидевшему солдату, очевидно легко раненому, и сказал:

- Поищи и принеси воды!

Солдат взглянул на него с изумлением, но ни слова не ответил, и, прихрамывая, ушел за водой.

Звук чистого, нежного голоса, которым заговорил матросик, поразил многих. А он, как умел, принялся перевязывать и обмывать раны, утешать, помогать несчастным.

Двое раненых узнали "морскую кавалерию" и с изумлением смотрели на него. А кругом происходило что-то ужасное.

- Ой, тяжко, тяжко! - стонет один раненый!

- Пить... пить... - мается другой.

- Спасибо, матросик... Вот и полегче, - говорит третий.

- Нет сил... Прикончите меня, братцы... Не вмоготу человеческую... - молит иной несчастный, и тут же умолкает навеки.

Позабыв страх, не слыша возобновившегося грохотанья, стиснув до боли губы, чтобы превозмочь ужас пред видом страданий, с одним горячим желанием помочь, успокоить, облегчить муки, перебегает молоденький матросик от одного страдальца к другому, и без усталости, не разгибая спины, перевязывает раны.

А раненых все несут и несут... И подолгу лежат несчастные на траве и ждут очереди, пока неопытная рука матросика прикоснется к ним.

Так и образовался тут случайный перевязочный пункт. Вскоре подошел сюда фельдшер и не мало удивился, видя как работает матросик.

- Ты откуда, паренек? - спросил фельдшер, бинтуя ногу раненого.

- Я девушка... Дарья... Из Сухой Балки, - мимоходом отвечал матросик.

- Много голов обернулось на эти слова. Много губ прошептало благословение за святой, великий человеколюбивый подвиг молоденькой девушки - почти ребенку.

III.

Одиннадцать месяцев длилась осада Севастополя. Это было страшное время. Всех страданий, трудов и потерь, что пережили родные герои, и описать невозможно. Недаром всем участникам севастопольской обороны Император Александр II приказал засчитать месяц службы за год.

Неприятели тоже трудились не мало.

Севастополь стоял молодцом. Кругом города вырастали крепкие высокие бастионы. И хотя все уже обтрепались, но постоянная трескотня, свист пуль, стоны, страдания и смерть - ложились тяжелым гнетом на душу. Иногда союзники так страшно громили Севастополь, что адский шум не умолкал ни днем, ни ночью. Днем весь горизонт застилался густым дымом, и солнце казалось затмившимся. А чуть темнело, - летающие бомбы под синим небом казались какими-то зловещими падающими звездами.

Солдаты работали днем и ночью. И много десятков тысяч полегло их на этом священном холме, облитом и упитанном невинною кровью.

Очень часто все пространство перед бастионами было устлано трупами, между которыми насчитывалась половина полубивых, тяжело раненых страдальцев. Эти обездоленные, изувеченные люди даже под прикрытием темноты не могли поползти до своих бастионов. Целые ночи лежали они на полк среди трупов, изнемогая от мучительных страданий и жажды. Наутро, опираясь на обе руки, они приподнимались с немой мольбой о помощи. Озираясь по сторонам, они видели, что из амбразур участливо, беспомощно следят за ними глаза товарищей, которые ничего не могут сделать... Снова опускались страдальцы на землю в ожидании единственного успокоения - смерти. Иной несчастный за невозможностью приподняться судорожно махал в воздухе рукою, либо сгибал колени, обнаруживая одни страдания и страдания. Стоны, то отчаянные, то изнемогающие, оглашали воздух, зараженный отвратительным запахом разлагающихся трупов. Было нестерпимо жарко. Над полем носились рои мух... Наступало перемирие, и воюющие спешили убирать и хоронить убитых. Раненых бывало так много, что они днями дожидались помощи, - не хватало рук. После алминского сражения Даша дни и ночи работала то на перевязочных пунктах, то в госпиталях.

Вслед за нею в Севастополь, на поле вражения, прибыл целый отряд таких же сердобольных женщин. В эту войну среди раненых, среди стоном и ужасов, впервые являются сестры милосердия.

Ни тиф, ни холера, которая стала появляться, - ничто не страшило этих, отдавших на великий христианский подвиг, женщин.

Забывая собственную опасность, они с полным самоотвержением помогали докторам при операциях и перевязках, подавали лекарство, питье и ухаживали за ранеными.

С необыкновенною кротостью и терпением отвечали они на капризы больных, успокаивали их ласковым участием, утешали скорым выздоровлением.

Раненые смотрели на них, как на истинных ангелов-хранителей, посланных им с неба... Особенно для солдат была чувствительна помощь сердобольных женщин вместо сухой и жесткой услуги госпитального служителя.

К раненым врагам сестры относились с одинаковым участием: в них эти святые женщины видели только страдающих братьев. Раненые французы и англичане потом на своей родине с особенною благодарностью отзывались об истинно-христианской помощи русских женщин.

Солдаты в госпиталях очень полюбили молоденькую сестрицу, Дарью Александровну. Дашу теперь уже все так называли. Должно быть, ее молодость и геройский подвиг, на который двинуло ее доброе сердце, привлекали к ней часто самые зарубелые души.

В другой палате, где бывала Дарья Александровна или другие сестры, больные неохотно давали перевязывать раны фельдшерам, а терпеливо дожидались, когда управятся "сострицы", чтобы перевязать их. Конечно, женский уход мягче и осторожнее.

Одетая в простое, темное ситцевое платье, в белом переднике с красным крестом на груди, с белым платочком на голове, Даша неслышными шагами ходит по палатам и заботливо следит за малейшим желанием раненых. (Она давно уже переменяла матросский костюм на простое женское платье).

- Сестрица... испить бы... - шепотом говорит какой-нибудь солдатик. Едва успеет произнести он свою просьбу, Даша уже тут, около него, приподняла его голову и дает питье.

- Спасибо, сестрица родная... - шепчут запекшиеся губы, и раненый, напившись, опустит голову и долго благодарным взглядом провожает отходящую девушку.

- Сестрица, подыми повыше... Тяжко... - стонет другой.

Даша спешит к нему, поправляет подушку и старается приподнять тяжело раненого. Но это ей не по силам.

- Скоро умру... Не долго маяться... Простите, сестрица... - говорит он, задыхаясь и едва выговаривая слова.

- Полно, голубчик. Еще поживешь и поправишься, на родине побываешь... Поди, женка-то ждет...

- Я не женат... Отца с маткой жаль... Старые... Убиваются...

Даша отходит и старается незаметно отереть наворачнувшиеся слезы. Ей невыразимо жаль этого молодого солдатика. Она знает, что дни его сочтены, и отец с матерью не дождутся к себе любимого сына.

Солдаты так полюбили свою молоденькую сестрицу, что очень часто, умирая, завещали ей кто часы, кто деньги, кто что мог.

Даше тяжело и совестно было принимать завещанное.

- Зачем, зачем? Разве я для того ухаживаю... Ничего мне не надо... - говорила она.

- Нет, сестрица, берите. Значит, такая воля была покойного... Последняя воля... Грешно не исполнить, - уговаривали ее товарищи покойного.

- Нередко на перевязочных пунктах, рядом с тяжело ранеными солдатами, можно было встретить и женщин, даже детей.

Жены и дети матросов под градом пуль являлись на бастионы, приносили еду своим близким, и здесь встречали смерть.

Один раз на перевязочном пункте подошла Даша к пожилой женщине, лежавшей на койке и стонавшей от боли.

- Тетушка, ты на каком бастионе ранена? - спросила девушка, пристально вглядываясь в измученные страданием черты.

- Ох... Я не на бастионе... Я в Сухой Балке... На бастион не хаживала...

- Тетушка, да ты не Анна ли, не Рябухина ли жена?

Больная быстро вскинула глаза.

- Даш... (Она, конечно, хотела сказать - Дашка). Дарьюшка!... Сестрица сердобольная... Слышали мы про тебя... Святая... Христос тебя храни... Милая! - усиливаясь на каждом слове, говорила больная.

С участием и нежною ласкою склонилась к ней Даша, расспрашивая и утешая. Думали ли обе женщины несколько времени тому назад, что они могут так встретиться? Думала ли старая жена матроса, что "Дашка", та самая "Дашка", которую она не раз бранила и считала совсем отпетой, будет за ней ухаживать, перевязывать ее раны и утешать? Никто не может знать, что ему готовит судьба.

- Я-то что, Дарьюшка... я пожила... Довольна. Мальчонку жаль.

- Раненая женщина вдруг вся затряслась, повела головой в сторону, как бы указывая на кого-то, и горько, беспомощно заплакала.

Даша бросилась в сторону, куда указала ей землячка, и со слезами прильнула к изголовью мальчика лет 12-13.

- Сеня! Родной мой! Да как же это? Бедный, бедный! Пить не хочешь ли? Не надо ли чего?!

Худощавый, бледный, как полотно, мальчик только посмотрел на нее мутными глазами, а говорить уже не мог.

- Где ж тебя ранило, тетушка? - допытывался старый инвалид, лежавший по другую сторону женщины.

- Дома, служивый, дома...

- Что же, "бомбой" или "ракитой"?

- Осколком, сердешный, осколком... Через окно... Да я что,.. Я пожила на своем веку... Мальчонку жаль... Кажись, помрет. Все черевы вывернуло.

- Ничего... Не убивайся, тетушка Анна... Бог милостив, - спешит утешить Даша раненую землячку.

- Ты только попроси Пирогова ему "пирацию" сделать... тогда жив останется, - слышится сочувственный голос с дальней койки, и оттуда подымается смуглое, усатое лицо...

Проработав более пяти месяцев на перевязочных пунктах и в госпиталях, Даша выбилась из сил, исхудала, еле держалась на ногах и сама заболела. Доктора настояли, чтобы она отправилась полечиться и отдохнуть. Тяжело было девушке оставлять раненых, но она видела, что силы ей изменяют. Пришлось пойти в Севастополь. Он представлял грустный и унылый вид. Везде по улицам валялись снаряды и осколки, земля была взрыта бомбами, дома пробиты, углы и карнизы отвалились, некоторые дома были без стекол и в уцелевших комнатах ютились жители. Ближе к бастионам все дома разрушены.

В городе проявлялась будничная жизнь. Купцы, по-видимому, спокойно и беззаботно сидели у своих лавок, по временам оживляясь при виде покупателя. Народ сновал взад и вперед. Ребятишки были увлечены шумною игрой. Они разделились на две партии из-за канавок, изображающих траншеи, бросали друг в друга начиненные порохом бабки. Вставленный внутрь фитиль производил взрыв незатейливого снаряда, осколки кости, разлетаясь, до крови ушибали маленьких героев.

- Егорка ранен!.. Братцы! Егорка ранен!.. - кричала толпа мальчишек, окружая товарища, на щеке которого виднелась кровь.

Раненого тащили на воображаемый перевязочный пункт, где девочки, в роли сестер милосердия, обвязывали Егорку тряпками.

Даша остановилась и долго с грустью смотрела на игравших ребят.

- В какую игру-то играют... Глупые! Долго ли до греха... И как это им дозволяют? - думала она, отправляясь дальше.

В Сухой Балке большая часть домов была разрушена, и жители перекочевали на новые места. Но маленький домишко сиротки Даши был цел и невредим, и бесстрашная хозяйка поселилась в нем. Тут, при постоянном свисте ядер и падении их

в близком соседстве, отдыхала и поправлялась от непосильных трудов молодая девушка. Иногда ветхие стены ее убогого жилища так сильно колебались и дрожали, что, казалось, вот сейчас рухнут.

Как только почувствовала Даша, что силы к ней вернулись, она снова пошла туда, куда призывали ее людские стоны, страдания и болезни.

Сестрица Дарья Александровна снова появилась среди раненых и не покидала их не только во все время войны, но долгое время по окончании осады Севастополя.

IV.

Когда окончилась Крымская война, среди других награжденных героев оказалась и Даша-севастопольская. Государь пожаловал бесстрашной девушке медаль, а государыня прислала ей золотой крест с надписью "Севастополь".

По окончании войны еще долгое время находилась Дарья Александровна в госпиталях около раненых, к которым привязалась и которых жалела оставить. Теперь стало гораздо легче: новых раненых не прибывало, а у прежних заживали раны. После обхода докторов, сестры исполняют все предписания, и польются воспоминания, разговоры. Прошедшая страшная година народного бедствия казалась теперь мучительным, тяжким сном.

Иной раз под вечер какой-нибудь словоохотливый солдатик всю палату соберет около себя, и слушают его, затаив дыхание... И как поучителен его простой, бесхитростный рассказ! Трогает он даже нечувствительное сердце и не мягкую, не нежную душу. Расспросы сыпется со всех сторон, и порою по загубелым лицам катятся слезы.

- Ты куда был ранен, дядюшка? - спрашивала как-то Даша, присаживаясь на койку к усатому, сумрачному унтер-офицеру.

- В грудь навывлет, сестрица.

- Крови много вышло?

- Много, сестрица... Думал, изойду... На поле, как меня ударила пуля, "оморок" вышел... Я свалился утром; очнулся - солнышко уж было на закате...

- Что же, скажи, служивый, страшно было перед сражением?

- Никак нет, сестрица... Только вот мне в примету: хмель не берет. Бывало, выпьешь шкалик, другой, - так и мурашки в глазах забегают... А тут налил я с унтером нашей роты манерку у маркитанта, только сердце разыгралось! Унтер-то спрашивает: - "Что у вас сердце не бьется?" - "Нет, - говорю. - Чего ему биться-то?" - "Ну, - говорит, - не будете убиты..."

- Это уж верно. Сердце в человеке чувствует, коли чему быть, - слышался басистый голос с дальней койки.

- Ты в каком сражении-то ранен? - спрашивал безногий инвалид, подходя к солдатику.

- Я под Алмой...

- Долго хвораешь?

- Почитай, весь год... Как жив только остался!.. Никто не надеялся.

Расскажи, как ты ранен был! Про дело-то расскажи! - расспрашивали раненые, обступая койку товарища.

Тот приподнялся, сел и с жаром заговорил:

- Да вот как, братцы... Крикнул это наш батальонный командир: - "Ребятюшки, не выдайте, покажите себя молодцами!" - "Как же это можно выдать, ужели ж мы не русские..." Забежали мы за вал: сидишь, ружье заряжаешь... зарядил, приподнялся немного, выпустил пулю да опять нагнулся. А "он" - то все-все в вал жарит. Другой раз поднялся я стрелять, глянул, - так покато и лежат по полю в красных и синих мундирах, а другие еще напирают. В эфтом месте силы их полегло, Боже сохрани,

сколько!.. Как глянул я еще раз, - тут уж, братцы, меня пуля и достала... Вышел "оморок". Я упал, да уж до самого вечера ничего не помню... Тут как ветер повеял с моря, я и очнулся. Тяжко таково, пить захотелось... Посидел я, посидел так-то, - думаю: - "пойду к себе, не доберусь ли к своим?" Все, значит, сестрица, к своим тянуло. Хотел встать на ноги, да ослабел шибко... Что ты сделаешь?..

"Вот я стал - то ползком, то на корточках; лез я так версты с две... Уж темно стало, совсем темно. Вижу: что-то маячит, думаю себе: - "наши, не то нет". Сон меня так и клонит. Господи, Твоя святая воля, что будет, то будет! Подлезаю поближе, - часовой закричал. Слышу: кричит не по-нашему... В сердце у меня так и похолонуло. Это я, братцы мои, на "ихнею" цепь залез. Перекрестился, стал тоже кричать: - "Ребятюшки, явите божескую милость, дайте водицы!" - В горле то, значит, у меня тогда пересохло, - пить бы все, да пить... Подошли они ко мне: один малый - здоровый такой из себя; по-своему стали говорить надо мной. Я им на рот показываю, пить прошу. Один взял бутылку и дал мне напиться, дай Бог ему здоровья; а другой пошел куда-то. Прележал я маленько, отдохнул, - опять пять. А тут им сигнал дали, все цепь сняли, ушли, а мне показывают: - "Русь, лежи тут".

"Ушли они, а я думаю: - "что ж, тут мне лежать не приходится... Попробую, - Бог даст, до своих доберусь". Вот по кустам пополз опять... В рану как железом горячим, колет, в глазах темно, да озяб таково, - трясусь весь, трясусь да на пни натыкаюсь. А опосля-то с горы стал спускаться, где наша позиция была, - вижу, огни горят. - "Ну, думаю, слава тебе, Господи, - наши". Прилег к земле: слушаю: над лагерем говор идет. Слышу: будто по-нашему говорят. Подлезаю ближе, смотрю: ан, нет, не наши - англичане. - "Ну, думаю, попался же теперь! шабаш, - до своих не добраться!" - Перекрестился я так-то, подлезаю. Схватили меня под руки, к начальнику повели. Спрашивает: - "Кто ты?" Я вытянулся. - "Русь, - говорю, - ваше благородие!" "Он пошел к палатке, вынес мне оттуда полчашки рому и, должно быть, приказал позвать доктора. Тут около меня собрались солдаты... смотрят на меня, качают головами, по-своему говорят. Я прилег у костра. Лежу, слышу... один толкает меня... открыл я глаза, вижу: чай мне дает... Тут уж я глянул на себя: рубашка-то и шинель, и сапоги - все в крови. Вот подходит ко мне один, мордища здоровая-здоровая, с ножом в руках: сержант, что ли, по-ихнему... - "Ну-ка, - говорит, - русь", - показывает так то руками, чтобы я расстегнулся...

- Что же ты, испугался, небось? - прервал рассказ кто-то из слушателей.

- Как же не испугался? Над душой человек с ножом стоит... так-таки и думал, что он меня решит совсем. Стал его просить: - "явите божескую милость, любезный человек, дайте свет увидеть!"

"Одначе, нет, - вижу не резать меня хочет: дал мне из своих рук чаю хлебнуть, расстегнул шинель и ножом вырезал кусок рубахи. Тут доктор перевязал мне рану, капель дал каких-то. - "Ну, - говорит, - русь, спи тут, спи", - и потрепал по плечу. - "Жива будешь". Пригрелся я у костра и уснул.

"Проснулся часа в четыре; холодно мне стало: ночью-то костер потух, только угольки тлели. Часовой шинелью меня поприкрыл. Вижу, стали "они" в поход собираться: кофий варят, от кофию дух по лагерю пошел. У меня голова закружилась; Бог их знает, как они его пьют! Опосля принесли носилки, кладут меня, а сами рукой на Севастополь машут... - "Мы, - говорят, - русь, туда пу... пу..." А я думаю про себя: - "Ладно, идите, идите, - напоритесь".

"Тут один снял шапку меховую и надел на меня, а сам подперся в боки, стоит и смеется... Шапка тяжелая такая, мне аль ни на нос съехала.

Снял я, вижу: смеется; аж мне досадно стало. Пырнул я ему шапку-то в руки, да и говорю: - "Ну-те к свиньям с твоей шапкой". Он надел, подбоченился и отошел...

- Куда же тебя, дядюшка, оттуда унесли? - спросила Дарья Александровна, задумчиво слушавшая рассказ.

- На луг... Стали туда раненых подносить... Наши были тоже...

- Я это сражение хорошо знаю... Я была там тоже, на перевязках, - вздохнув проговорила молоденькая сестра милосердия, и тяжелое воспоминание тенью пробежало по ее миловидному лицу.

- Долго ли ты там лежал?

- Да день шесть, почитай... С начало то дня два с нами маячили, своих хоронили и нашим пули вынимали. Я видел одну англичанскую: сохрани Боже, какая, - острая-преострая, а в середине пустая должно, начинена чем!

"Тут-то, сестрица, как ушли все к Севастополю, тяжело было. Раненых тьма, а доктор один: не справится! На своих очень жалостно было смотреть: ран никто не перевязывает, жара, муха ест... Некоторые солдатики так тут и примерли... Иной чувствует, что смерть близка, говорит: - "Несите меня, ребяташки, к реке, на берег, чтобы я живой вам не опротивел". Возьмем и вынесем... Чего не придумалось... Думаешь, - и приколят и в полон возьмут...

"Мы сами тут, кто мог двигаться, воды приносили, щи варили. Котелков у них много, такие же, как наши, примерно, ведра, только кверху пошире... Голодом нас не морили, а только муки много приняли.

"Тут-то и уйти бы можно, присмотрю не было... Кажись, пошел бы, - ан, нет... Очень я был плох. Ночью пойдешь, попробуешь, оступишься, а в рану, как шилом, колет: не вмоготу, - и вернешься... А кто оправился, - все ушли".

С грустью на сердце слушает Дарья Александровна этот рассказ. Уж ей ли не знакомы, не близки, страдания солдатиков! Уж она ли не страдала вместе с ними, обмывая и перевязывая их раны и принимая нередко их последний вздох, выслушивая последнюю просьбу. И много таких рассказов выслушала молоденькая сестра милосердия... Ей всегда казалось, что она сделала слишком мало для раненых, и она нередко упрекала себя, зачем уходила отдыхать в Севастополь и зачем тогда не превозмогала свою болезнь.

Время шло, и стали все замечать в госпитале, что их молоденькая сестрица Дарья Александровна ходит точно сама не своя - расстроенная, грустная.

- Сестрица, что вы приуныли? - спрашивали как-то больные.

- Я скоро ухожу отсюда... Мне тяжело расстаться с вами, - призналась девушка со слезами в голосе.

- Устала, голубушка. Намаялась, храни тя Христос! - шептал старый инвалид, глядя с лаской и любовью на уходившую сестру.

У этого солдатика не было руки и ноги, и его особенно берегла и жалела Дарья Александровна.

Скоро раненым стало известно, что к сестрице Дарье Александровне сватаются женихи. Ведь, ей в то время было всего 17 лет; ее святой подвиг был окончен, а молодость брала свое и манила к жизни, к счастью.

И стала замечать Дарья Александровна, что ее раненые часто о чем-то совещаются, сговариваются, что-то замышляют и от нее скрывают.

В последний день перед уходом из госпиталя она пришла совсем распрощаться со своими ранеными... Войдя в палату, она увидела, что готовится что-то необычайное. Кто мог из больных, - стоял, другие сидели. Навстречу Даше двинулся, постукивая деревяшкой, старый, безногий инвалид с образом Спасителя в руках.

- Родная ты наша сестрица! - громко, дрожащим голосом заговорил он. - Не пожалела ты для нас своей молодости, обмывала наши раны и видела с нами много горя, приняла труды великие! Прими же ты от нас благодарность и земной поклон и благословение! Господь Батюшка пошлет тебе счастье... А мы станем за тебя вечно Господа Бога молить.

Рыдая, упала на колени молодая девушка и с благоговением приняла благословение солдатиков. Они собрали свои трудовые гроши и купили икону любимой сестрице. Этих

трогательных минут она никогда не могла забыть, и во всю ее долгую жизнь воспоминания о них приносили ей тихую отраду.

Дарья Александровна вскоре вышла замуж за матроса, тоже севастопольского героя. Государыня императрица прислала ей 1000 рублей на приданое. Говорят, Дарья Александровна поселилась с мужем в Николаеве и была очень счастлива. Может быть, судьба посылала ей испытания, но сознание великого, человеческого подвига, наверно, всегда приносило успокоение ее доброй душе.